

Баня

Народ способен на ответ. Особенно он способен на него, когда мучитель более не знает границ: когда он перестаёт оправдываться и считает начатую себе в пользу и славу войну долгом иных: тех, кто и прежде оскоплялся тупой молчаливой силой обезумевших согласием ближних. Ответ этот не есть благое, христианское или доброе, но он воспроизводит в себе хоть тысячную: хоть крупицу из того зла, которое представляла собою власть; иногда власть нуждается в этом: нуждается в том, чтобы расчленённые ею младенцы упали возле их дорогих, вычищенных гордым блеском дворцов. Революция есть зло, однако ответ народа не всегда предполагает замену: измученные голодом, бредом и болью люди порой стремятся не захватит власть: всё, чего хочет народ, чего тяжело не хотеть; что, общем, есть и серьёзное испытание христианину, есть истерзанный воспалениями и глубокими рваными, нанесёнными прежде самыми честными из людей ранами вид человека, ставшего причиной взорванных животов добрых людей и изнасилованных женщин названного именно им таковым врага.

Когда контрастно бахнувшие крайней неожиданностью и съязвлённое опухолью оглушившегося искристыми, надрывающимися чёрными опросветами спекающегося деревом молчания звонами воздуха щелчки были услышаны, я совсем не сразу понял, что произошло нечто выдающееся: обыкновенными, всё же несколько осаждающими согбения спины моей движениями я добрался до полка, только едва оскользнувшись на верхней скамье; в бане было жарко: особенно жарко.

Первые мгновения я, стараясь не выдавать и абстрактной, никем не могущей быть увиденной тяжести сношения жара, держал лицо только чуть ниже обыкновенного, почти упирая подбородок в одёрнутую стружкой длинных кудрявых лесок грудь, однако после губы мои начали гореть, как гореть начинали и лёгкие: то дело довольно обыкновенное, однако впервые я так скоро начал скрывать лицо своё сомкнутыми совершенно незначительно оставленной меж ними щёлочкой ладонями; окрасневшая, покрывающаяся пока только жирными пузырями ещё мутного, скомканного грязью пота кожа моя горячела всё более, и отрывистым, одно слегка выдавленным из себя криком я обратился к мужикам, находящимся в предбаннике: я слышал лёгкое, будто стремящееся к своему утаиванию копошение, и в копошении этом можно было расслышать чуть шипящие тишиной голоса; мне никто не ответил. Я крикнул громче: я знал, что они есть там, однако не знал, зачем кричу: я не сошёл ещё и на высокую скамью: я ещё доволен сил: впрочем... впрочем, я только сел: я только вошёл в баню, и отчего я вовсе должен хотеть уйти отсюда? то есть баня: то есть одно из величайших наслаждений, и прерывать его я не намерен: я буду сидеть: я буду ещё долго сидеть, поддавать

и запаривать толстые дубовые, должные расходиться запахом своим по всей бане веники; однако... однако они не отвечают. Я прикрикнул громче, и даже опалённая страхом угроза блеснула в крике моём, да в продолжающихся постанываниях их гадкого шёпота я не слышал ответа, равно как и реакции на сказанное мною; видимо, они чем-то заняты, хотя занятость подобная меня и не устраивает.

Ещё с минуту я продолжал сидеть: оборачивающиеся длинными прозрачными червями струйки пота текли по мне, и вскоре я более не был похож на человека, только зашедшего в баню: пот не скатывался по мне, но был о всей поверхности тела: я был мокрым: я был покрыт этим потом, и лился он уже ото всех мест, где только мог; баня была горячей: не просто горячей даже, но: казалось, воздух в ней подобен пламени, и во огне этом я продолжал дышать через руки: связанный густым горячим туманом воздух резал их, и мне было всё тяжелее: всё тяжелее находиться на полке. Ещё с несколько минут стойко держась, я перестал думать о мужиках: они более не были так важны, как важен был жар: жар этот... определённо, был он необычен: определённо, жар не становился слабее, и я даже обрадовался, что не решился с самого начала поддаться, как делаю обыкновенно: слишком непривычным было молчание мужиков, и потому я даже забыл о самых обыкновенных, нацеленных на мой комфорт вещах; я спустился на верхнюю ступень, однако и там: однако и там пламя душного пара сковывало меня острыми тупыми лезвиями, и я осел на нижней: там было... было, вероятно, лучше, однако я уже не мог сказать ничего положительного о своём состоянии: голова моя: у меня начинала болеть голова, и мне казалось даже, что кислая: что писклявая боль в ней происходит из самого центра, и потому пару раз я даже почти произвольною болезненностию ударил по быстро трянувшемуся в обжигающем любое движение воздухе лбу; я уже не мог держать своё тело, и потому лёг на пока одно чуть тёплые, ошатывающиеся проявляющимися ко холодной земле дырочками доски, и тогда в дырочки эти: в мелкие, не позволяющие просунуть туда и прядь волос дырочки я пытался окунуть вымывающиеся из меня язык и пальцы, и рассудок мой: рассудок мой начинал помутнеть: я чуть привстал, и обожжёнными горячую воздуха руками я коснулся железной, прилипшей к моей коже приросшими жёлтыми волдырями ручки двери и стал тянуть, однако ни сил моих, ни ответных реакций более не было: я не мог выйти из бани, и даже то маленькое окошко, что можно использовать хоть для самого условного охлаждения, забилося толстыми тяжёлыми досками: я пощупал то место... я ощущал его, ибо уже не мог видеть: в жаре этом я не мог открыть сразу спалившиеся бы вывалившимися, сокращающимися частыми смердящими ударами слизнями глаза.

Так быстро... совсем не прошло времени с того, как я сел, уверенный во способностях своих и невеличине жара, до того, как уже дрожащим во боли вздувающей мои слабые, уже падающие прилипаниями ко стенам кожи горячи залазил под полки: я... я даже не взметнулся

ещё ко двери, когда температура сковала парализованный резкой бьющей болью ум мой, когда уже не мог бы сам я и выйти из бани, окутывающей меня призором своих острых, разъедающих кожу огней.

В дрожащем редкими просветами ума бреду я пытался ощупью понять, где же могла быть вода, ибо не помнил я уже прошлого: ибо память моя стиралась сводящим всё ко пустоте пламенем. Я полз, и только сильно позже, когда одно неловкое движение содрало всю кожу со спины моей толстой шипящей шкурой, я пожалел, что пытался найти здесь выход: что пытался... что надеялся ещё обнаружить свободу и надежду: я понял: когда лицо моё обожгла мокрая горячая, отлипшая с верха нижней ступени розовая кожа, я понял, что погибну здесь. Я понял это, однако страшнее: однако куда мучительнее было понимание, что смерть моя будет долгой: что смерть растянется столь продолжительным несносимым мучением, что рассудок мой нескончаемое число раз прервётся и сродится совершенным неprisутствием: что глава моя отпрянет, а тело стечёт.

Жар становился сильнее: даже прежде хоть не отдающие пламенем доски срастали со прилипающей к ним связанными густотою камней костями плотью, и рассудок мой: в момент этот, когда тело моё полностью уже покрылось мешающими сомкнуть в подмышках руки пузырями, я едва мог самостоятельно отвечать за собственную реакцию: порой я свершал движения крайне недолжные, только усиливающие боль во этом медленном движении ко смерти, и тогда шея моя дёргалась: тогда позвонки мои тёрлись друг об друга, и я пытался почесать свой жир: оголившимися упорами когтей пальцами я сдирал с себя маслянистые пухлые шмотья мяса, и боль эта отчего-то была мне даже приятней спепеляющего лица мои жара: я сдирал с себя мясо: я чувствовал себя лучше, однако скоро место со отломанными локонами жира начинались взбухать новыми бубнами, и тогда боль резала наваленными крючковатыми иглами уже органы мои.

Горло моё: горло моё высохло, кажется, в первые минуты пребывания в бане, и отеперь только еле выправляющийся свистом пара хрип сблёвывал облака выходящего изо рта, подобно всей оставшейся, сливающейся влагой лопнувших опухолей коже, дыма: органы мои высохли, и уже неоконченная, продолжающаяся до самой смерти дрожь тянула ударяющиеся отваленными мясами руки: я ударялся... я не мог не ударяться о стенки бани под полком, и во каждом ударе к стене я приляпывал жирные мокрые комья своего тела, уже одержащегося скорее из обутых пузырями только редко оставшегося жира костей.

Я терял сознание, однако боль тут же вырывала меня из блаженного своим неосязанием бреда: баня ссушала меня: баня взрывала меня пухлыми волдырями, и скоро дрожь стала единственным, на что были способны уже спалившиеся скопившимися тутими сухожильными нитями мышцы.

Жар снимал с меня лицо и животы, и раскрытые упавшими веками глаза быстро вылились кипятками желчных вязей. Давно отпали волосы, как и ногти: я старался не касаться оторвавшихся частей своего тела, ибо тело моё было горячим.

Скоро пальцы обломались и присохли ко вырвавшему их у меня полу, и скруглённые болтающимися нарывами руки и ноги мои бились розовыми сваренными концами.

Скоро изо рта выпали спавшие из сточенных, свернувшихся обувшимися узорами дёсен зубы.

Дрожь продолжалась, однако кости мои спаялись во одном положении, и будто пытающееся обнять нечто тело моё редко подпрыгивало в начинающих уже обугливать почерневшую смолою кожу огнях. Вздыхающееся болезненною лёгкостью тело моё подпрыгивало чёрными плёнками пузырей, пока угли его не остались трепыхаться в безмолвно снявшей меня орнаментами пепла бесцветной бане.

Я знаю, что я есть мужик сильный, и сила моя помогает мне работать: в работе я, как и на кулаках, лучше всех, и потому другие мужики дают мне своих жён и дочерей; я почти не бью жену, потому что она всё терпит; если бы я бил её, она тут же б умерла, а так: когда от меня вынашивают ребёнка, с тем помогает именно она, у которой самой два раза выпало, не успев созреть; тогда я оставил её, и в стягивающемся жёлтыми дырами окрывающих голову корок лихорадочном жаре она, кажется, умирала, да всё же выжила: с тех пор везде ей мерещится Стёпушка: она говорит, что ребёнок этот вылитый я, да жирные руки его сжаты взбухшими глубокими шрамами, а ноги выпирают радужными гнойными, падающими оземь жемчужными вонючими виноградками пузырями, и само лицо Стёпушки: само лицо его болотно-синее, и еле выделяющиеся из темноты язв глаза блестят проклятым белёсым упором, так внимательно смотрящим на неё и одобряющим уход за другими моими детьми. В деревне нашей чуть более пятидесяти дворов, и каждую: с каждой женщиной в ней я возлég, и женщинами я считаю всех, кто не есть мальчик или мужчина; так, на прошлой неделе я случайно сморил совсем маленькую девочку: ей было три года, и умерла она как раз тогда, когда отцу её, которому я проломил голову старым ржавым, должным убить его и одно червями немытого железа при ударе во иную сторону топором, возникшим в руке моей после его громкого, оскорбительного мне едва проваливающимися осквозь раскалывающее голову его рыдание причитаниями плача, нужно было делиться: молочные, ломящиеся кремовыми пузырьками дырочки её начали рваться, но я не останавливался: они сочились маслянистой чёрной, безмолвно шлёпающейся о подгнившее банное, совсем стемневшееся скрипом подо весом моим дерево кровью, и скоро прежде истошные, раздающиеся звонким рокотом крики её становились всё тише, пока пухлый отсутствием костей о себе слизень подо мною

окончательно не перестал содрогаться хлюпающими плевками угольных, уже чуть охладевших пятен.

Сегодня баня, и в баню меня всегда пускают первым: никогда сам я не топлю её и не ношу воду, и потому попеременно мне удаётся побывать во всех банях деревни, где я также не брезгую едой, жёнами и дочерьми деревенских мужиков: они не против: они ничего: они совершенно ничего не говорят мне, и сегодня, когда мы собираемся сразу большой толпой, обещали сделать особенно хорошую баню; светящиеся чуть золочёными бликами медленно скатывающегося солнца ржавчины ослепляют меня мыльными лужами отяжелевших моей свободой небес, и в момент, когда я уже разделся: когда я видел обыкновенно злые глаза мужиков, я вошёл в баню, где слышался сразу ряд даже излишне звонких мощных щелчков, подобных щелчкам больших металлических, сковывающих окрасневшие голубины смягчившихся границ хрупкой слабой кожи засовов.